

ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ
**ДОРОГАЯ,
Я ДОМА**

РОМАН



издательский дом

ФЛЮИД

FreeFly





КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

Дмитрий Петровский

ДОРОГАЯ, Я ДОМА



издательский дом

ФЛЮИД

FreeFly

Москва · 2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6
КТК 610
П 30

Петровский Д.

П 30 Дорогая, я дома : [роман]. – М. : Флюид ФриФлай, 2018. – 384 с. – (Книжная полка Вадима Левенталя).

Многоплановый, густонаселенный, жутковатый и захватывающий с первых же страниц роман Дмитрия Петровского рассказывает о прошлом, настоящем и будущем европейской цивилизации.

ISBN 978-5-906827-54-8

© Д. Петровский, 2018
© ИД «Флюид ФриФлай», 2018
© П. Лосев, оформление, 2018

Одри и Максим, дилерам Алексу и Дэну, торговцу оружием Ватару, шоп-лифтерам Бонни и Клайду, парням с шестой линии берлинского метро и всем бойцам невидимого фронта — посвящается

Alle wissen, daß wir zusammen sind
Ab heute
Jetzt hör' ich sie!
Sie kommen!
Sie kommen Dich zu holen.
Sie werden Dich nicht finden.
Niemand wird dich finden!
Du bist bei mir¹.

Falco. Jeanny

...мне хочется... проучить какую-нибудь старую клячу за то, что разбазарила мой мир, то ли я просто психую из-за того, что мир слишком разросся — мы уже не можем его описать, вот и остались с этими вспышками на экранах радаров, огрызками какими-то, да с обрывками мыслей на бамперах...

Дуглас Коупленд. Поколение Икс

¹ Все знают, что с сегодняшнего дня мы вместе. Я слышу их. Они идут. Они идут забрать тебя. Они не найдут тебя. Никто не найдет тебя! Ты у меня (*нем.*).

Пролог

Он стоит за дверью, я чувствую его, я знаю — эта сволочь сейчас войдет.

Я — Кира Назарова, Вильгельмштрассе 7, 10969 Берлин — Центральный район. Бывшая девочка по вызову, псевдоним — Леди Кира, рост 176 (если с каблуками), 25 лет (по анкете на нашем сайте — уже который год), грудь 4 (увеличенная), волосы огненно-рыжие (свои). Предпочтения: доминирование, воспитание раба, унижения, флагелляция, оральный секс (активный), strapon, фут-фетиш, бут-фетиш (поклонение обуви), золотой дождь (выдача). Я не понимаю, почему эта цепь защелкнулась именно на моей руке.

А она оказалась на моем запястье, когда я впервые проснулась в этом подвале. В тот момент я не знала, что проснулась, мне казалось, я сплю дальше. Раскалывалась голова, тошнило, и хотелось пить.

— Цепь сделана так, что ты не сможешь подойти к двери близко, — говорил глухой мужской голос по-немецки. — Не пытайся бороться со мной: даже если убьешь меня, ты не выйдешь. Замок на двери с кодом, код знаю только я, но даже если узнаешь его — ты не дотянешься до кнопок. Ключ от твоей цепи наверху, я никогда не беру его с собой.

И еще что-то, похожее на ролевою игру, как будто сейчас мой ход и я должна его поправить, потому что это моя роль, — и еще надо обсудить обращение — «госпожа» и кодовое слово, по произнесении которого игру следует прекратить.

Но такого слова не было, это выяснилось позже — и, когда я поняла, что и игры не было тоже, я в первый раз бросилась

на мерзостного старика. Но он просто отступил на шаг, а мою руку рвануло назад — цепь натянулась и зазвенела.

— Я никогда не ударю тебя, никогда не заставлю делать то, что ты не хочешь, — сказал он мне тогда, — более того, я попытаюсь выполнить все, что ты захочешь, — только скажи.

— Выпустите меня отсюда, — попросила я.

Он пожал плечами. Тогда он был выше и стройней, а голова была седой лишь наполовину.

— Боюсь, это единственное, что я не могу сделать. Еда в холодильнике, — и он указал на какой-то совсем древний агрегат в углу комнаты, малиново-красного цвета ящик с ручками как у старых машин и с полуотбитой надписью «Bosch». — Я приду позже.

Если вдуматься, если отбросить мою профессию, о которой знали очень немногие, а из друзей вообще никто, то я простая русская девчонка, таких много. Не уверена, что вы узнали бы меня на улице, когда я выходила как есть, без нарисованного лица и прически, построенной, как когда-то строили дворцы. Я жила одна, любила пить вино, покупать красивую одежду, ходить по клубам. Я встречалась с парнями, ни с кем — долго, ни с кем — серьезно, у меня был аккаунт в фейсбуке, и еще анонимный — в твиттере. Кто-то мог, пожалуй, сказать, что я одинока. Но значит, он ничего, понимаете, ничего не знает об одиночестве, об изоляции, о заключении. О том, о чем я тоже надеялась никогда не узнать.

Стены и потолок затянуты черной бархатной тканью, старинная мебель, как во дворце, а под потолком — люстра, похожая на маленькую крону золотого дерева, с которой свисают листья — подвески. Перегородка, до нее мне еще хватало цепи, зайти за нее — уже нет, но если отойти в противоположный угол, то можно было увидеть сплетение труб, масляные баки, стрелки как на паровых машинах и краны — отопительный котел. Возле перегородки стояло пианино, которое потом

оказалось клавесином, или верджинелом. На стенах — фото-портреты незнакомых мне мужчины и женщины, остальные маленькие картинки в темных рамках — тонкие гравюры на желтоватой бумаге, изображающие разные цветы, снизу, по черком, каким уже давно никто не пишет, — латинские названия этих цветов. В общем, обычная старомодная комната при обычных обстоятельствах и до ужаса страшная — если ты просыпаешься в ней так, как проснулась я, потому что понимаешь, что владелец ее как минимум безумен.

Когда он заходил в первый раз, не решаясь приблизиться, он смотрел на меня, будто оглядывая удачную покупку. Пожилой, полуседой — он вдруг казался крайне довольным собой мальчишкой. Потом, уже позже, я поняла: он высматривал во мне кого-то другого, кто стоял перед его внутренним взором.

— Пожалуйста, уложи волосы иначе. Волнами, вот так. — Он покрутил руками у висков. — А сзади подбери, заколи наверх. У тебя пока недостаточно длины, но волосы отрастут. А я могу принести тебе фотографии.

Клянусь, это были его первые слова!

— Я не буду делать никаких причесок, пока ты не выпустишь меня! — вопила я. — Слышишь?! Я отрежу себе волосы ножом, и никаких причесок! Тебя найдут и посадят, а меня выпустят!

— Как угодно, — отвечал он и делал что-то вроде поклона. — Но я не думаю, что это случится, — и непонятно было, о причёске он или о полиции. — Я так не думаю.

Он уходил. На ночь специальное устройство под потолком щелкало, люстра выключалась, наступала полная бархатная тьма. В первую ночь я, конечно, не могла заснуть. Я вслушивалась, пыталась поймать какой-нибудь звук сверху, но слышала только монотонное гудение вентилятора, которое заполняло мозги и заглушало собственные мысли. Вентилятор вертелся в длинной черной шахте над кроватью, ревел, иногда перегревался и тогда захлебывался, и от него воняло горелым

машинным маслом. Где-то на том конце колодца была другая решетка, которая лежала на мокрой земле, открывалась в свободный мир наверху, в холодный ночной воздух — и я вставала на кровать и тянулась вверх, к этой решетке. Потом, конечно, укладывалась и ворочалась, пыталась на ощупь найти что-то, сама не знаю что, снова вставала и ловила слабый ток воздуха из решетки. Только один раз я почти уснула — шум вентилятора превратился во сне в грохот самолета, старинного бомбардировщика с пропеллерами. Этот сон был первым и самым коротким из тех вязких видений, которые мне еще предстояло увидеть в том подвале.

Двадцатый век был веком увеличивавшихся скоростей, его техника научилась быстро передавать сообщения, быстро передвигаться по воде, земле и воздуху, быстро разрушать и так же быстро строить. Взгляните на европейские города — они похожи на слоеные пироги. Руины Первой мировой, сверху — руины гитлеровских перепланировок, сверху — бетонная крошка, оставшаяся после ковровых бомбардировок союзников. В Восточной Европе этот пирог присыпан относительно свежими обломками строек коммунистического блока — настоящий пир для археолога, который без труда раскопает кабинет с курительным набором и книгами, дамскую гардеробную с украшениями и трюмо, детскую комнату с игрушечной кухонькой и плюшевым зайчиком.

Ночью, когда вы прогуливаетесь по заново уложенной бумажной мостовой, цокая по ней шпильками или ботинками на деревянных каблуках, покуривая сигару или просто вдыхая чистый вечерний воздух, — прислушайтесь, и услышите далекий плач. Чье-то детство, задавленное рухнувшей крышей, упавшей стеной, заваленное в бункере, забытое в подвале — плачет и зовет маму в далекой земляной глубине.

Людвиг Вебер, предприниматель

День рождения

В Дрездене, возле оперы, когда выходишь из ослепительного, бликующего всеми оттенками пурпурного и золотого зала в прохладный весенний вечер, — на долю секунды можно поймать какое-то ощущение, смутно похожее на счастье. Даже не счастье, а скорее — гармонию. В том, как пустая, мощенная старинным камнем площадь заполняется людьми, которые только что слушали новую постановку «Дон Жуана», как подплывают машины, словно собирая их в свои удобные, баюкающие салоны, в вечернем воздухе, теплом ветре, несущем запах сигар, — есть в этом что-то вечное, что-то от незыблемого миропорядка, от первоизданной красоты.

Тогда, тяжело опираясь на трость, по дороге к машине, милейший старый Бауэр, член совета директоров Müller Milch, рассказал мне, что после смерти хочет стать музыкой.

— Раствориться в окружающем, свободно лететь, — говорил он, с трудом ступая, и седая голова клонилась набок. — Стать звуком, может даже одной нотой, которую издает одна из скрипок, когда играет эту божественную, божественную музыку. Знаете, к старости и когда есть деньги, начинаешь ценить простую мудрость, настоящую красоту... Людвиг, скажите, вы помните вашего отца? Я недавно читал о нем, кажется, в Stern. Выдающийся был человек. Помните?

И я некоторое время иду рядом с ним, вглядываюсь в небо, и небо стремительно наливается аквамаринном, становится похожим на темную воду.

— Нет, не помню. Я был маленьким, когда моя семья...

— Ах, Людвиг, какого вы года? Я все забываю, что я старше. У меня в календаре отмечен ваш день рождения, но без года.

Спокойной ночи! — Он усаживается в машину, трудно засовывает ноги в тесное пространство перед сиденьем. — Наслаждайтесь чудным вечером...

И когда водитель уже отпускает тормоза и выжимает сцепление, когда машина медленно начинает катиться, замечаю, как из кожаного чемоданчика Бауэр достает эту маленькую дрянь, которая в последние годы захватила всех, плоский черный предмет с надкусанным яблоком на задней стенке. Мобильный телефон, айфон. Подумать только, он — тоже...

Я вспоминал это по дороге в аэропорт — в тот вечер я возвращался домой через Цюрих. Я ненамного моложе Бауэра. Наверное, ненамного беднее его. И сейчас, только сейчас я впервые понял, что такое — любовь и что такое — возвращаться домой. Под старость ценишь верность. Незыблемый порядок вещей, который с трудом удается установить. Не иметь телефона, который больше, чем просто телефон, не иметь доступа в интернет. Ждать своего рейса — и знать, что есть Дом, от которого ты можешь отойти на любое количество шагов, отлететь на сколько угодно миль, чтобы потом обернуться и...

* * *

Первые самолеты в моей жизни — английские бомбардировщики — появились в немецком небе в мае 1940 года. До них, до того как мне довелось впервые увидеть распластанную в воздухе тушу — у меня было вполне счастливое детство.

Наш дом стоял на берегу Эльбы, в Бланкенезе: большая гостеприимная вилла, сложенная словно из ступенек: западное крыло насчитывало четыре этажа, восточное — только два. Сложные системы переходов внутри дома наподобие эшеровских лестниц, множество уровней, комнаты странной конфигурации, многоугольные, с причудливо скошенными потолками: все это должно было пугать, но не пугало, было естественным — покуда веселый, энергичный голос отца рокотал в коридоре, его тяжелые, полнокровные шаги сотряса-

ли винтовую лестницу и наша семья была в сборе: моя тихая, ласковая мать, мой брат, мой дядя Давид, часто наезжавший из Швейцарии.

Была у нас и прислуга: шофер, который иногда по утрам отвозил меня в гимназию, итальянец-повар и горничная.

«Champagne Socialism» — этот термин я прочел в газете, он был даже популярен несколько лет назад, так же, как «тосканская фракция» — это о тех членах социалистических партий, у кого есть недвижимость в Тоскане. Итальянский язык хорош для опер, от него устаешь через полчаса, когда на нем кричат на итальянских улицах, а итальянская Швейцария и вовсе только своим существованием оставляет легкий привкус нонсенса. Но вот шампанское — это было про нас, про наш дом. Мой отец — социалист, глава совета директоров электрического концерна, одного из тех, чьи лампочки занимают не один ряд полок в супермаркетах, ценил шипучие вина.

— Геноссе Ленин утверждал, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны, — говорил он, поднимая бокал золотистого брютта, в котором пузырьки рвались наверх, чтобы на поверхности раскрыться, закончить свою короткую жизнь. — Что ж, пусть tovarishi укрепляют советскую власть, а с электрификацией поможем мы.

Он нес свой бокал за тонкую ножку к центру стола, чтобы соединить его в общем «дзынь» с гостями. С обратной стороны стола «дзынькали» советский посол Юренев, Карл Радек, который, помню, разрешал мне и подергать бороду, и посмотреть на мир через его круглые очки, рассказывая при этом на своем смешном немецком какие-то похабные сказочки. Отец умел пить так, чтобы бокал оставался девственно чистым, сияющим, будто его только что принесли из лавки, куда наших слуг отправляли покупать столовый хрусталь. Бокал Радека быстро становился мутным — пальцы и следы губ. Потом, на процессе во время чистки 1937 года, губы Радека произнесли имена всех тех, кого хотел услышать Сталин, в том числе многих гостей моего отца и нашей гамбургской виллы. Губы отца

в подвалах гестапо остались сомкнутыми и не запятнали его чести, как не запятнали бокала. Участь обоих была одинакова.

Отец любил принимать гостей, водить их по своей вилле — и в этом мы с ним не сходимся. Он хоть и предпочитал полумрак и темные коридоры и атмосферу, которая ему, вероятно, напоминала его любимую викторианскую Англию, — но виллу он строил для себя и друзей семьи, в доме было бесконечно много гостевых комнат. Отец охотно показывал все помещения, включая чердаки, и винный погреб, и даже странную комнату в подвале, стены и дверь которой были обиты черным бархатом, — там он делал какие-то опыты с маленькими лампочками, для которых нужна идеальная темнота.

Лампы отца вспыхивали в прожекторах берлинской студии UFA, а наш дом посещали киноактрисы и режиссеры. Отец с матерью всегда следили за тем, чтобы на наших «вечерах» (именно «вечерах» — слово, которое после войны превратили в огрызочное «вечеринки») в правильной пропорции присутствовали бизнес, политика и богема.

Юная Марика Рёк приходила в сопровождении отца, строительного магната Эдварда Рёка. Танцовщица-вертихвостка, она кружила меня, маленького увальня, поднимая вихрь юбками, потом бросала и мгновенно забывала — как раз в тот момент, когда я начинал пищать от удовольствия, от воздушной струящейся ткани, от запаха парижских духов. Лилиан Харви, темноволосая роковая красавица, на которую мне указывали родители, объясняя, как надо держать спину. Поле ужина, прогуливаясь с гостями в саду, спускаясь к Эльбе, отец частенько брал ее под руку и переходил на свой старомодный английский: мать Лилианы была англичанкой, и детство она провела в Лондоне.

По Эльбе шли пароходы и баржи, пахло илом и водой, воздух вспарывали гудки — мужчины в костюмах-тройках, одни с трубкой, другие с сигарой, кое-кто — опираясь на трость, спускались к берегу, где у нас имелись пристань и небольшой прогулочный катер.

— Вон там, слева, на холме, обратите внимание, — указывал отец, — виноградники. Да-да, существует такая вещь, как гамбургское вино — из тех трех кустов. Оно кислое и совершенно, между нами говоря, негодное, но безумно редкое.

Дамы смеялись, а мужчины спрашивали, есть ли среди винных запасов моего отца образчик.

— Увы, да, — отвечал он, смиренно наклоняя голову, — хоть это и глупо, но согласитесь, так же глупо каждый день видеть из окна виноградник и не иметь с него вина. И потом, это занятно — преподнести господину послу или даже господину министру в подарок бутылку чего-то, что он полагает несуществующим...

Моя мать махала на него рукой в белой перчатке, дамы ступали на мостки, гулко вышагивая по ним каблуками.

И полная, круглолицая шведка Кристина Сёдербаум опускала пухлую руку в воду, ее кудрявые волосы взбивал ветер, край платья опасно свисал, грозя намочнуть, — она словно предчувствовала все свои будущие роли в нацистском пропагандистском кино, где она будет красиво лежать в воде, изображая безвинно утонувшую, за что и получит пожизненное прозвище Reichswasserleiche — «государственная утопленница рейха».

* * *

Все это могло быть, а могло не быть, присниться, домыслиться потом. Что способен помнить мальчишка, который в те годы свободно помещался под стол и бегал между шуршащих нижних юбок и стянутых сложными ремешками туфель Лириан, Кристины, Марики, Хильдегард?

— Надо быть верным себе, — говорил мой отец, когда мы сидели на южной террасе нашей виллы с видом на реку, откуда пристань была похожа на декорацию для моей игрушечной железной дороги, а наш колышущийся на мелкой волне катер — на мельницу с бортиками и ярко-медной, но ненастоящей машинерией. — Господа национал-социалисты хотят утверждать превосходство арийской расы — флаг им в руки. Но по-

куда мы имеем пакт с Россией, покада Сталин совершает там индустриальную революцию, покада, наконец, эти, в сапогах и с буквами SS на рукаве, по воскресеньям жрут икру в советском посольстве на Линден — нашему бизнесу ничто не грозит. А я — я всегда буду при своем мнении, что бы ни придумал наш бесноватый рейхсканцлер. Смотрите, пароход! — говорил вдруг он, указывая пальцем туда, где горизонт сходиллся со спокойной водой Эльбы.

И мы с матерью и дядей Давидом доверчиво поворачивали головы, а наш отец, остававшийся невидимым, отец в крахмальной рубашке, при галстукe и жилетке, по которой сбоку шла легкая серебряная цепочка от часов, ловким движением поднимал тарелку своего кремового супа и быстро, почти бесшумно выпивал через край остатки.

Он остался верен себе и в тридцать седьмом, когда расстреляли Радека, и в тридцать восьмом, когда вызвали в СССР и казнили посла Юренева, поставив на его место зловещего Деканозова, и в сорок первом, когда он сам предстал перед коротким, с заранее известным приговором военным судом как социалист и спонсор антифашистского подполья. И часто потом, совершая мои сделки, становясь тем, чем я стал, я вспоминал его, думал, что надо оставаться верным себе и мир — мир тоже станет тебе верным.

И больше чем полвека спустя я иду по резиновому коридору на посадку мимо прелестных улыбающихся стюардесс, с таким тревожным вниманием приветствующих нас, пассажиров первого класса, и думаю, что очень долго, дольше, чем следовало, оставался молодым и глупым. Какое миру дело до тебя? Мир забудет о тебе в следующую секунду, как эти стюардессы, — даже если тебе казалось, что он тоже был к тебе внимателен.

Холодок из вентиляции. Демонстрация мер безопасности, электронные картинки на экране — я больше любил, когда стюардессы сами показывали все руками, преувеличенными жестами, и еще — кокетливо дули в трубочки на спасательном жилете. Нет, мир меняется, и с этим ничего не поделать.

Сейчас самолет поднимется, небо возьмет нас в свои ватные, облачные руки, будет укачивать...

Мы можем только надеяться, что останется нечто незабываемое. Моцарт и Вагнер. Рембрандт и Дюрер. Белые альпийские вершины и синий журавль на белом хвостовом оперении моих самолетов. Любовь. Наша с ней любовь — она будет вечной.

Но вот отцу — отцу в сорок первом, скорее всего, было уже все равно. И даже не столько потому, что годом раньше меня эвакуировали в Швейцарию, нет. Просто мой отец очень любил маму.

* * *

Что бы ни писали потом газеты, как ни спекулировали насчет моего отца, его вложений в кинематограф и, как следствие, романов с актрисами — все это ложь. Отец, сидящий во главе стола, гуляющий по нашему чудному саду, подающий руку дамам, помогая взойти на шаткий борт катера, — он смотрел на них равнодушно-учтиво...

Несколько раз, проснувшись раньше будильника, я видел его в окно, в белой рубашке и простом костюме, в котором он обычно выходил к завтраку, торопливо идущим по нашей сонной улочке. Чуть выше, дальше от берега Эльбы, была цветочная лавка из дорогих, где делали штучные, индивидуальные букеты, где составляли вместе редкие цветы с лепестками, похожими на крылья тропических бабочек, и могли поинтересоваться цветом волос дамы, ее пристрастиями в нарядах, ее темпераментом — а также тем, по каким дням и в какие часы букеты лучше доставлять. Но отец ходил сам, считая доставленный букет ненастоящим подарком, не знаком внимания, а имитацией.

Мать же ждала его каждый вечер, чувствовала приближение его автомобиля, и, когда он в сумерках заходил в холл, сбрасывал и отдавал служанке пальто или плащ и произносил нежно, но достаточно громко, чтобы она услышала из зала: «Дорогая, я дома», тогда мать расцветала, шла навстречу, так что ярко-рыжие волосы летели по ветру, и они встречались у лестницы, где она задавала один и тот же вопрос: «Дорогой, тебе чай или кофе?»

Но часто, возвращаясь к обеду раньше обычного, отец переглядывался с матерью весело и значительно. А потом удалялся в свой кабинет, и мать начинала торопливо ходить по комнате, надолго исчезала в гардеробной, требовала слуг. И если я, ускользнув от внимания няни, забредал по лабиринтам нашей виллы в ее комнаты, то мог в щелочку неплотно закрытой двери увидеть, как она, замедленно и мечтательно, как балерина в гипнозе, поворачивается у зеркала — в легких туфлях, во взлетавшем от движения, раскидывающем по ветру многие юбки платье, иногда — уже с вуалью, из-под которой ее зеленые с поволокой глаза вспыхивали и исчезали, чтобы снова отразиться в зеркале.

Потом выходил отец, в крахмальной рубашке, с платочком в кармане смокинга, стуча деревянными каблуками туфель по паркету, брал маму под руку, и они спускались по лестнице, освещенной неяркими огнями, чтобы исчезнуть в черном нутре отцовского автомобиля: папа с мамой пошли в театр.

А еще изредка, в полумраке гостиной (они любили полумрак, и вся наша вилла была, как я уже говорил, несмотря на внешнюю сахарность, несколько темноватой), они вдруг обменивались одним им понятным взглядом — и через несколько минут приходила няня и уводила меня прочь, в темные коридоры, в переходы и лестницы. Уходя, я еще мог видеть, как между отцом и матерью на столе появляется новая бутылка вина, как отец кладет свою ладонь на ее маленькую руку, потом сам открывает бутылку — и все: темные повороты и винтовые лестницы поглощали меня, в моей комнате я укладывался в постель — но долго не мог заснуть, потому что сквозь щель мне мерещился наблюдавший за мной рыбий широко открытый зрачок. И я никак не мог отделаться от мысли, что позже, когда папа с мамой неверной походкой отправятся в спальню, где происходило что-то, о чем можно было только догадываться, бессонный зрачок будет маячить и там, вглядываясь в смутную игру теней за неплотно прикрытой дверью.

Но утром — утром мрак рассеивался, в окна сквозь ставни проникало солнышко, утренний гудок первого парохода

ревел, и я, быстро схватив за лапку любимого зайчика, путаясь в пижаме и замирая от страха, бежал по темному коридору. Дальше — по винтовой лестнице, через безлюдный зал, отражаясь в мебели и зеркалах, поднимая тонкий перезвон подвесок в огромной люстре в зале, люстре, похожей на крону плакучей ивы, — подбегал к дверям спальни, быстро стучал и, услышав сонное «да-да», — вбегал, плюхался на перину между папой и мамой и только потом переводил дыхание. И отец, который всегда просыпался рано, щекотал меня, подбрасывал, потом уходил, а мама — она тихо лежала на боку, ее сонные зеленые глаза наполнялись нежностью, теплели, рыжие пряди стекали по подушке — она укрывала меня толстой, как в сказках про матушку-метелицу, периной с головой, получалось только окошко, в которое я смотрел на нее.

— Окошечко, — нежно говорила она, — маленький домик...

Потом мы вместе укладывали спать моего зайчика, серого, с большой головой, наивными глазками и крестиком вместо носа. Зайчик укладывался на подушку, ушки трогательно скрещивались, будто заплетались. Он тихо засыпал с краешка, а в его глазах-пуговичках отражалась крохотная лампа на золотой ножке, туалетный столик у кровати, и на нем, совсем малюсенькие — мамины бриллиантовые серьги-подвески, нитка жемчуга и несколько гребней для волос.

— Мама, а что будет на день рождения? — спрашивал я.

— Большой сюрприз, — ее глаза лучились, она медленно поворачивалась на кровати. — Большой сюрприз, но пока мы тебе ничего-ничего не скажем. — Она поднимала со столика колокольчик, и тот коротко мелодично звонил. — Вставай одеваться к завтраку!

* * *

Мир меняется, в мире остается мало нежных, приятных звуков. Не звонят трамваи, не звонят автобусы, а телефоны, которые прежде трезвонили требовательно и строго, теперь мерзко пищат. Когда самолет заходит на посадку, над головой пикает

будто бы мелодично, но откуда им, с их электронной музыкой и виртуальной любовью, знать, как это — мелодично. В аэропорту Цюриха я выбираю букет — несколько роз, больших, едва распустившихся, на одном из листьев — божья коровка. К старости становишься сентиментален. Я посмотрел на нее, невинное создание, яркое, как детское платьице — мне захотелось, чтобы она так и осталась на листе, чтобы дожила до того, как я преподнесу ей букет. Я всегда сам покупаю для нее цветы. Сюрприз, большой сюрприз... Я не люблю мой автомобиль. Он большой, в нем много места сзади, есть стенка, которой можно отгородиться от шофера. В конце концов, он той же марки, что и тот, на котором ездил мой отец, — главный автомобиль Германии, романтическое женское имя. Но внутри — нет, внутри он не женский, что-то есть в нем холодное, безличное и пластиковое, — что-то, в чем не чувствуешь единственно верную руку художника, а чувствуешь — множество рук безымянных азиатских рабочих, молчаливой темной толпой окруживших конвейер.

Цюрих плывет за окнами, летнее солнце умирает над низкими крышами. Лето — время, когда происходит больше всего непоправимых вещей.

* * *

Летом, в тот самый год, накануне дня рождения, в наш дом приходили рабочие — они несли огромный, обитый деревом ящик с английскими надписями. Отец сам стоял у двери и, весело переговариваясь с ними, показывал, куда заносить. Мама, лицо которой светилось тихой радостью и предвкушением, старалась занять меня чем-то, сделать так, будто мы не видим ящика, и я подыгрывал ей как мог, но не в силах был не смотреть, как огромное нечто на плечах серых, остро пахнущих мужчин уплывает в подвал виллы. Скоро спустилась няня, я был передан ей на попечение, и мы отправились пешком к портному, который должен был дошить мой праздничный костюм, и к парикмахеру, чтобы постричь мои длинные, почти

слишком длинные волосы. Я вышагивал рядом с ней по дороге, по нашей улице, той самой, которую я пытался потом найти, но которая, конечно же, успела полностью поменять свои очертания. А тогда — тогда на улицах пахло кофе и тонко поджаренным хлебом, а в одной лавочке играло радио — приятная музыка, что-то такое, чтобы прямо тут, на летней пыльной улице, станцевать, взметая пыль. Но когда мы подошли ближе, музыка вдруг оборвалась, и голос, хрипя и отчаянно сотрясая тарелку репродуктора, надсадно закричал о войне и об англичанах, о полном уничтожении и о войне до победного конца.

— А как же тетя Лилиан? Она же англичанка?

— Тетя Лилиан — хорошая англичанка, — поспешно затараторила няня, утягивая меня за руку куда-то вперед. — Ее папа немец, она живет в Берлине и снимается в немецких фильмах, так что она и не англичанка вовсе...

Костюм пришелся впору: фракная пара, по-взрослому длинные брюки — я поворачивался у зеркала, пытаюсь найти ракурс, в котором так хорошо выглядел отец, но костюм был слишком маленький, и я был маленький — будто игрушечный, аккуратный, очень точно сделанный, но все же ненастоящий вагончик железной дороги.

Костюм завернули в бумагу и положили в пакет с отпечатанным на нем клеймом портного — отец тоже шил тут костюмы, и пакеты эти то и дело попадались у нас в доме.

Парикмахер долго колдовал над моими волосами, щелкал ножницами, скреб по затылку длинным страшным ножом бритвы, приговаривая — «не двигайтесь, молодой господин, не двигайтесь», — а я боялся даже вздохнуть, не то что пошевелиться.

На обратном пути встретились солдаты, обдали грохотом сапог, короткими гортанными командами — и долго за поворотом улицы колыхались на рукавах когтистые черные кресты в красных кругах.

Обед прошел быстро, потом мы с мамой играли в карты, она немножко подыгрывала мне, я обижался — но ее пушистые рес-

ницы взметались так нежно, глаза смотрели так ласково — и я успокаивался, приходил к ней, терся щекой о крохотные часики.

Вечером, на террасе, где я пил чай с молоком, по-английски, как это, несмотря на войну, было заведено в моем доме, я прогуливался по плитке с тонкой линией узора югендштиль, выглядывал через легкую металлическую ограду наружу, где над Эльбой заходило солнце, закатываясь ей под лесистое веко.

Мама в зале медленно перебирала клавиши верджинела — старинного английского клавесина, подарка дяди Давида. Играла что-то из Моцарта, иногда спотыкалась, обрывала и начинала позвякивать на клавишах какие-то барочные отрывки, менуэты, звучавшие будто из огромной музыкальной шкатулки.

Вдруг откуда-то раздался гул, страшный басовый рев, от которого я вздрогнул и присел — но это была всего лишь баржа, подавшая свой громовой голос откуда-то снизу Эльбы. Когда гул растворился в сладком вечернем воздухе, из-за дома слышались звон и легкое клацанье, позвякивание металла — соседский мальчишка, сын лавочника, накручивал педали, поднимаясь на холм на своем велосипеде — и тогда, именно в ту минуту, я в первый раз подумал о том, какое счастье, что я — это я, что у меня есть моя мама и что сейчас настанет вечер и автомобиль отца появится на дороге — как раз тогда, когда отцовские лампы вспыхнут во всех фонарях на нашей улице.

Мама несколько раз весело ударила по клавишам — будто много легких металлических пластинок упали на пол, — и я, хоть и не видел ее, знал, что она закрыла крышку верджинела и пошла переодеться, чтобы встретить отца.

И вечером, когда няня отводила меня из зала в темный коридор, за угол, под скошенный потолок, к темной, извивающейся в глубокую темноту винтовой лестнице, дальше, мимо коридора с узкими окошками-бойницами, в мою комнату, где в полумраке уже ждали меня в кровати любимые игрушки, мне жаль было уходить сюда от света, и странное, еще неизвестное, не названное, но щемящее чувство теснилось в груди.

Ночью мне опять снилось гудение, громовой гул реки, хотя пароходы вроде так не гудели, а потом, уже проваливаясь в дрему, я видел маму в белом пеньюаре, на цыпочках входящую в мою комнату, раскладывающую что-то вокруг кровати. Так было заведено у нас в семье: подарки ночью раскладывались в спальне, чтобы именинник, едва проснувшись, мог их обнаружить.

Опустив что-то совсем маленькое на столик у кровати, она застыла, и я сквозь прикрытые веки видел только смутный ее силуэт, тонкую фигурку с еле различимыми кружевами по нижнему обрезу пеньюара, пару локонов, выбившихся за границу силуэта. Она стояла, будто слушая мое дыхание, впитывая его в себя, — а я уже заснул, и картинка сменилась — увиделась какая-то незнакомая дама, молодая, тоже в темноте и в пеньюаре встающая с кровати, — и, когда она вставала, я на секунду различил знакомые очертания бархатной комнаты, в которой отец проводил эксперименты с лампочками. Потом вдруг появилось темное узкоглазое лицо, лицо очень бледного худого китайца в черном, будто похоронном костюме, — китаец был страшным, я заворочался — и провалился в бездонную сонную тьму.

* * *

Проснулся я с первым лучом солнца, пробравшимся сквозь ставни. Утро было чудесное, чистое, еще не испорченное ни людьми, ни машинами, и я сначала проснулся, зная, что сегодня должно быть что-то радостное, а потом радость вдруг нашла имя, обрела смысл, и я совсем открыл глаза и увидел то, что оставляла мать ночью: аккуратно сложенный костюм, сшитый вчера, и конвертик на столе — белый конверт с золотым отрезом, на котором в правом углу был значок фирмы отца, а посередине — написанное почерком мамы «С днем рождения!», обведенное красной тушью. Я быстро вскочил, порвал конверт, обнаружив там сложенный вдвое листок.

«С днем рождения! — писала мама. — Одевайся и беги в зал, сюрприз там».

Я торопливо оделся, путаясь в штанинах, и, на ходу заправляя рубашку и хлопая по полу незавязанными шнурками, побежал. Дом казался пустым, я быстро несся, грохотал ботинками по винтовой лестнице и наконец вбежал в зал, снова как будто спугнув его чинный прохладный полумрак и отражения в мебельном лаке.

Пролетел ореховый комод, шкаф красного дерева с изогнутой дверцей. Пробегая, я притормозил возле спальни родителей — тишина, словно не было никого, — и понесся дальше.

В зале ничего необычного я не заметил, обежал его еще раз, пока не увидел еще один, точно такой же конвертик.

«Людвиг, с днем рождения! Теперь беги на террасу!» — рукой отца, скупым на украшения, почти печатным почерком.

Взбегать по лестнице было труднее, на полпути я подумал, что отец отругает за шнурки, и кое-как завязал их, спрятав концы внутрь ботинка. Комната, выходящая на террасу, была светла, солнце заливало ее яркими лучами, и с трудом открывались шпингалеты на стеклянной двери. Терраса тоже была пуста, но, глянув вниз, я увидел фигурку отца, дежурившего у входа. Сверху, как на аккуратном рисунке, был виден наш сад с высаженными в строгом соответствии с мамиными рисунками цветами, и голубой изгиб Эльбы, и папин черный автомобиль, и виноградник с редким гамбургским вином, аккуратно огороженный заборчиком, был так четко различим на холме — казалось, что я видел каждый листок, каждую жилку.

— Папа! — крикнул я, но он сделал вид, что не услышал, продолжал ходить взад-вперед, засунув руки в карманы. — Папа! — крикнул я еще раз, но потом понял, что это — правила игры, часть сюрприза. И тогда я повернулся, обежал террасу, нашел еще один конвертик, в котором опять был листок: «Людвиг, спускайся вниз».

И я, смутно предчувствуя большую, больше всех до того случившуюся со мной радость, спустился по лестнице, сжимая в руках бумажку. Отец, увидев меня, положил трубку на ступеньку,

отошел на два шага и, по-мальчишески скинув пиджак и запустив его в сторону двери, остался в одной жилетке. Серебряные запонки блеснули на солнце, и он вдруг побежал по саду, будто ему было шестнадцать. «Давай скорее! Беги!» — кричал он мне, и я со всех ног, с непривычки путаясь в своих длинных штанах, кинулся за ним. Он пробежал в ворота, помахав на бегу удивленному шоферу, застывшему за рулем автомобиля, и нашей соседке, супруге виноторговца фрау Греббе, которая, увидев меня, крикнула: «С днем рождения, Людвиг!» — и рассмеялась, звонко и лучисто. Отец мчался по дороге, его светлые ботинки поднимали пыль, он свернул с улицы и, перемахнув через деревянную перекладину, преграждающую путь возам и машинам, понесся прямо на холм, к одинокому винограднику. И я бежал за ним со всех ног и пролез под перекладной, рассмеявшись оттого, какое замечательное приключение выходит сегодня, какой веселый папа и что где-то, где-то должна быть мама, такая же радостная. У заборчика, ограждающего виноградные кусты, уже стоял отец, наклонившись вперед, упирая руки в колени, — отдыхал от непривычных упражнений, его живот вздымался и опадал под жилетом, всегда идеально уложенные волосы растрепались, длинная прядь впереди спадала до подбородка. На заборчике было приколото еще одно письмо в конвертике, на котором, так же, как на том, у моей кровати, было написано: «Для Людвига», — и обведено тушью в красное сердечко. Я торопливо оторвал конверт, открыл его — там была карточка, точно такая же, как та, что была у меня в руке, и там маминым аккуратным почерком написано: «А теперь последний тест — на храбрость. Твой подарок — в темной комнате в подвале. Беги туда. Мама».

Я все еще часто дышал от бега и, прочитав, поднял свое, наверное, совсем красное лицо и вопросительно посмотрел на отца.

— Давай, — сказал он и толкнул меня в сторону дома, — беги!

Дом наш был виден с холма — он лежал в отдалении, его белые стены в утреннем солнце казались только что отмыты-

ми. Вспомнился зайчик, оставленный в спальне на подушке, почему-то захотелось взять его с собой, прижимать к себе, когда буду спускаться в темноту подвала. Даже почудилось низкое гудение — то самое, что снилось этой ночью.

— Ну же, — позвал отец, — беги! Не бойся, там мама, она тебя ждет, с подарками!

И я уже видел, как бегу, как в секунду спускаюсь по винтовой лестнице вниз, как пробегаю все переходы — прямо, потом направо, сразу налево, толкнуть дверь — и там она, мама, и еще что-то, такое неизвестное, такое радостное. Гудение вдруг выросло из-за спины, стало густым ревом и тархтением. Какая-то тень на секунду закрыла солнце, взметнула траву и пригнула кустики винограда к земле. Огромный самолет пролетел прямо над нами, показав свое клепаное металлическое брюхо — он пронесся в секунду, качнув крыльями, и, оказавшись над нашей виллой, грузно завернул, демонстрируя неизвестную эмблему на крыльях: белые звезды в черных кругах.

— Вот видишь, тебе ко дню рождения! Даже самолеты! — прокричал отец, когда грохот позади снова вырос и над нами так же грузно пролетел уже второй. Этот был еще больше, два его мотора ревели так, что я почти чувствовал, как дрожат стекла в окрестных домах. Он летел медленно, куда медленнее первого, и чуть выше — и я мог проследить, как он осторожно покачивается, тоже взяв наш дом за ориентир. Потом я увидел, как в брюхе самолета, будто в часах на ратушной площади, открылись две блестящие дверки и, когда он осторожно и грузно перевалился на крыло и описал аккуратный полукруг над нашим домом, оттуда начали медленно падать черные овальные предметы, похожие на баклажаны. И когда первый баклажан, как в замедленном кино, тронул край нашей южной террасы — всю округу вдруг осветил нестерпимо яркий белый огонь, словно зажглось еще одно солнце, и наш дом в секунду закрыло огромным черным облаком, изнутри которого в разные стороны полетели какие-то куски и обломки. Будто во сне, я увидел

яркую тряпку, вылетевшую из пламени — отцовский галстук, который, разматываясь в полете, как лента серпантина, плюхнулся на ветку ивы и завис, раскачиваясь. И уж потом что-то низко, на пределе слышимости, бухнуло в ушах, меня подняло над землей, аккуратно положило на спину, и в следующую секунду я увидел, как голубое небо чернеет и затягивается едким всепроникающим дымом.

— Мама! — почему-то позвал я и не услышал своего голоса, а только смутно напоминающее его гудение в голове. — Мама! — Я понял, что лежу, и попробовал встать. Но мамы не было. Был отец, который неподвижно, как жуткая сюрреалистическая статуя, стоял надо мной и не мигая глядел туда, где только что был наш дом. Туда, где в подвале, в бархатной комнате, навсегда осталась моя мама и ее подарок — мне на день рождения.

Идешь к женщине? Не забудь взять с собой плетку. Так говорил Ницше. Или Шопенгауэр. А что берет с собой женщина, когда идет к мужчине? Не сомневайтесь, она может взять все что угодно. И если мужская фантазия не пошла дальше плетки, то фантазия женщины бездонна, как ее сумочка. И то, что она внезапно может достать из нее, не снилось ни Ницше, ни Шопенгауэру.

Кира Назарова, без определенных занятий

Летняя смена

- Девятиэтажки.
 - Горисполком.
 - Памятник Ленину.
 - Пионерлагерь «Дзержинец».
 - Электросчетчики в коридоре.
 - ЖЭК, ЖСК, ЖКХ.
 - Троллейбусы.
 - Почему троллейбусы? Это даже слово нерусское.
 - Потому что я знаю — в Европе троллейбусов нет. Только у нас. Завод «Ижмаш».
 - Мозаики про космонавтов на домах.
 - Надпись «Почта Телефон Телеграф» большими электрическими буквами, половина не горит.
 - Памятник дружбе народов.
 - Речные пароходы, где объявляют: «Товарищи пассажиры!»
 - ЛЭПы.
 - Что?
 - ЛЭП. Линия электропередачи.
 - Это везде есть.
 - Везде это, наверное, иначе выглядит. А ЛЭПы — только у нас, — сказал он не без гордости.
- Мы сидели на берегу ижевского пруда и перечисляли, что еще кондово-советского осталось в нашем городе в 1995 году.
- Турники во дворах.
 - Электрички.

- Кинотеатр «Прогресс», кинотеатр «Восход».
- Поцелуй.
- Поцелуй?..

Летний поцелуй. Знаете, такой — когда пахнет водой, нагретым бетоном, пылью — еще песчинки, непонятно как попавшие в рот, похрустывают на зубах, а кожа того, кого целуешь, горячая и немного влажная.

И еще — тебе шестнадцать, завтра ты уезжаешь в пионерлагерь, а парень, которого целуешь, тебе не очень-то и нравится. Он веселый, с ним можно играть в подобные игры, но в общем не такой, как те, другие, за которыми ты следишь украдкой — запоминая каждое слово, каждое движение.

А что тебе остается делать, если ты — вотячка, рыжая и лагерь, в который ты едешь, — тоже вотяцкий.

Мы поцеловались, и он пошел через площадь, пересек тень от Лыж Гали Кулаковой и дальше, вдоль ижевского пруда — весь в черном, под июльским солнцем.

В каждом городе должна быть достопримечательность — какая-нибудь высокая бесполезная фигня, торчащая над городом и видная со всех сторон. Лыжи Кулаковой, он же Шаверма, он же Хуй — это очередной памятник дружбе народов на берегу пруда в городе Ижевске: две непомерно длинные плиты, связанные между собой какой-то лепниной. По задумке архитектора, он должен был символизировать связь двух этносов, русского и удмуртского.

Нас, удмуртов, нацменьшинство, местные русские называют вотяками. Что-то типа чурок про кавказцев. У нас нет особых признаков, вроде цвета волос или разреза глаз, но жители бывшей Удмуртской АССР почти безошибочно выделяют нас из толпы. У вотяков большие зубы, грубые рты. Часто — длинные носы. Простые крестьянские черты. В общем, если видишь лицо, будто собранное из частей, плохо друг к другу пригнанных, — это почти наверняка вотьяк.

«Вотячка» — как «колхозница». Поэтому что еще мне оставалось, кроме как целоваться с не очень красивым и не очень интересным парнем возле Лыж Кулаковой?

Дома я собиралась под недовольными взглядами матери (Карты? Зачем тебе там карты?). Вообще-то подруга советовала взять презервативы. По дороге домой я потопталась у аптеки, но спросить не решилась. Тогда я еще была девственницей.

В шкафу, из которого я доставала и складывала в чемодан юбки, шорты, футболки, пахло застиранным тряпьем. Запах вместе с одеждой упаковывался в чемодан, туго перетягивался ремнями.

— Куда тебе столько вещей? Едешь ненадолго. Если что надо будет — я привезу. Куда тебе платье это?

— Мам, там дискотеки. Надену.

— Дискотеки... — Мать недовольно уходила на кухню.

На кухне телевизор что-то бухтел про приватизацию, там шумели заводы, а корреспондент с микрофоном надрывался, пытаюсь их перекричать. Потом, уже когда захлопывала чемодан, я услышала, как играет погодная заставка, и побежала на кухню. На большом изогнутом экране нашего «Рубина», чуть подергиваясь, светилось изображение огромной моей страны и девушка с правильными чертами лица и в строгом платье тыкала палочкой в города. Но я следила не за ней, не за палочкой, которая углублялась все дальше на восток, — смотрела на левый край карты. К тому году моя страна уже стала меньше, намного меньше той, что была прежде, — но карта у девушки была еще старая, на ней слева были Киев и Брест, а за ними, за толстой змеистой чертой, обозначающей край земли, — была Варшава, а еще правее, у самого угла — Берлин, чуть выше — Любек, а еще выше — Киль. Дальше карта обрывалась окончательно, но я представляла себе, как камера передвигалась и как на экране появлялись новые очертания и значки: дождик над Лондоном и солнышко над Ниццей,

синенький градусник над Норвегией и красненький — над Сицилией. Мать протягивала руку к телевизору, собираясь ткнуть в тугую кнопку с горячей цифрой, — переключить канал.

— Стой, стой, минуточку! — кричала я.

Мать взмахивала руками, отходила — она уже знала.

Передача заканчивалась, и на экране появлялось оно — волшебное слово «Реклама», недолго держалось, и его сразу сменяли несколько картинок, которые после унылой цветовой гаммы студии новостей буквально взрывали экран. Там застывший фейерверк над огромной металлической штуковиной — Эйфелевой башней — быстро сменяли тысячи огоньков на припорошенных легким снегом деревьях, булыжные мостовые и дома с огромными арочными окнами и кафе на первых этажах — Вена. И дальше, картинка за картинкой, — светящийся проспект с витринами и блестящими автомобилями, без единой пылинки, с настоящими трехлучевыми звездами на капотах — Германия, и сразу, без предупреждения — зеленые поля и домики с черепичными крышами между ними, ряды виноградников и голубая речка — Франция. А потом речка сменялась синим морем и снежно-белыми крышами под ясным, ласковым солнцем, совсем другим, чем то, наше, пыльное, отбрасывающее длинную тень от Лыж Кулаковой. Стройные, ослепительно красивые люди на побережье, беззаботные и сами светящиеся, подобно маленьким солнышкам — Италия. Завершала ряд картинок панорама, снятая сверху, — зеленые склоны, прозрачные, как в сказках про русалок, озера, в берега которых будто вросли старинные, похожие на шахматные лады замки, и над всем этим возвышались огромные белые от снега Альпы, снега такого, каким никогда не бывает растоптанный, размешанный в скользкую грязь снег у дома. Картинки мелькнули в десять чистых, как горный воздух Швейцарии, секунд — потом над Альпами проступили буквы «Туристическое агентство „Европа“», с адресом

и телефоном, а потом все исчезло. Показали какие-то пыльные прилавки, старые кассовые аппараты, полки под мореный дуб, и голос, пародирующий президента Ельцина, стал рекламировать магазин «Братский». На балконе завизжала отцовская фреза — сказка пропала.

У отца там была мастерская. С тех пор как закрыли радиозавод, где он работал инженером, отец сидел дома, делал «товары народного промысла» — туески, хлебницы, «райских птиц», — а его друг сбывал это все иностранным туристам.

Потом я пила чай с молоком и двумя ложками сахара — вкус, который, через годы, города и страны, только сглотни и вспомни тот день — сразу появляется во рту. Потом звонил он, мой парень, который мне не очень-то нравился, а потом наступила ночь. Ночь перед отъездом в лагерь.

Я засыпала на своем продавленном диване, смотрела в потолок, на неясные отсветы, которые оставляли фары проезжавших мимо дома машин, слышала электрическое подвывание двигателя последнего троллейбуса. Ветер чем-то шелестел, залетал в открытое окно, мягко касался лица — и казалось, кто-то невидимый с нежным напором наползает поверх одеяла и следы его мягких касаний остаются на теле.

Вечером, сама с собой, я продолжала играть в игру, начатую с моим парнем, но слова — слова были другие...

— Лыжный курорт.

— Шампанское.

— Виноградники.

— Кабриолет, — шептала я в темноту.

— Швейцарский ножик.

— Мартини с оливкой.

— Квартира, где стоит не номер, а твое имя.

— Кофе по-венски.

— Ив Сен-Лоран.

Перед сном всегда хотелось, чтобы приснилась далекая Европа, хотелось увидеть себя на берегу моря, или в отеле,

или в венском кафе за чашкой кофе, будто я каждый день сижу там — но постоянно снилось что-то другое: тяжелые лица вотяков-одноклассников, ссоры с моим парнем, наш пруд, проходная радиозавода с электронными часами над ней. Только один раз приснилась Швейцария — солнце заходило над озером, сахарные замки показались большими и грозными, какие-то тени лежали вокруг, — сон был тревожный.

* * *

— Вставай, вставай!

Это мать поднимала меня с утра на следующий день. Я как во сне одевалась, как во сне тащила чемодан, ехала с матерью в троллейбусе, что-то там отвечала на ее вопросы — и только когда оказалась на остановке автобуса, который должен был отвезти нас в лагерь, поняла, что это все-таки не сон...

Лица подростков, которых заспанные родители грузили в автобус, даже в сонном тумане, в утренней дымке были безобразно отчетливы. Ни одного нормального парня. Толстые, с двойными подбородками, или наоборот — худые заморыши, или крепко сбитые, с лицами, будто срубленными топором. Мамаша запихнула меня в смену, которая называлась «Встреча финно-угорских народов». Это модно было тогда у нас, в Ижевске девяностых — мэрия выбивала из финнов деньги на такие встречи, и нас там, в этих лагерях, знакомили с культурой нашего народа... И что самое ужасное — вожатой была девушка. Молодая девушка, русская, в спортивном костюме, с короткой стрижкой и тонкими европейскими чертами лица. Крепкая фигура, под курткой «Адидас» угадывалась грудь. Она здоровалась с каждым новоприбывшим, поднимала глаза, улыбалась, делала пометку в листке напротив фамилии, словно учетчик на заводе, и опускала глаза обратно в листок — во всем была небрежность, легкое снисхождение — к нам, вотяцким недорослям.

По-прежнему в легкой дымке, которую все чаще прорывало негодование и чувство обманутости, я видела мою мамашу, что-то втирающую вожатой, которую она уже называла Анечкой. Мать указывала на меня, заискивающе улыбалась, под конец впихнула какую-то дрянную плитку шоколада — «Анечка» кивала и улыбалась как бы мило, но слегка удивленно, а потому — унижительно.

Ты — девочка, которую родители отправили в лагерь для удмуртов... что тебе остается? Когда автобус трогается, набирает скорость — ничего уже не вернешь, надо жить с тем, что есть. Например, с твоими соседками. Рядом со мной сидела девушка с круглым, приятным лицом — даже не скажешь сразу, что вотячка: маленькие розовые ушки, пепельная коса, длинные ресницы. Вотячку выдавал нос — вздернутая кнопка, почти пяточок. С первых же слов стало понятно, что она — девочка-умница, девочка-скромница, рукодельница и стыдливая недотрога. Такие, наверное, в оркестре играют на арфах.

— Я очень рада, что мама отправила меня в этот лагерь, — говорила она. — Стыдно не знать родную культуру.

— Родную вотяцкую культуру! — донеслось с заднего сиденья, и я сразу обернулась.

Там сидели две девчонки, — одна вся в веснушках, с наглыми зелеными миндалевидными глазами и грубым низким голосом. Это она сказала про культуру — так, что моя соседка покраснела. Рядом с ней сидела ужасно бледная девушка, цвет ее кожи отдавал синевой. Веки были тоже подведены синим, и вдобавок ко всему — жирно покрашенные черным ресницы и черные волосы. Утопленница, — прикинула я на нее прозвище, а потом короче: Трупик.

Мы познакомились. Лиза, девушка-трупик, говорила, что лагерь нормальный, дискотеки есть и сбегать можно по ночам без проблем. Веснушчатая Оля сказала, что все было бы хорошо, если бы не стремные вотяки, что родителей, которые

запихали ее в эту смену, она бы убила. Скромная Оксана промурлыкала что-то вроде: «Оля, но ведь ты тоже удмуртка!» — и услышала в ответ что-то такое, от чего густо покраснела, захлопала ресницами и надолго замолчала.

Автобус катился по лесному тракту, из-за деревьев иногда показывался ижевский пруд. Промелькнула огромная, ужасно уродливая чугунная скульптура, изображающая лося.

— О, моя сестра тут замуж выходила неделю назад, — сказала Оля, — ничо, нормального парня нашла...

На свадьбу все молодожены почему-то ездили «к лосю» фотографироваться, а иногда там же и напивались.

Промелькнуло несколько старых машин, приткнувшихся возле скульптуры, с пруда донеслись далекие крики купавшихся.

- Эйфелева башня.
- Монмартр.
- Колизей.
- Особняк, белая вилла.

Я подумала, что вот, мое приключение — эта поездка в лагерь, который находится «за лосем», практически за границей. И еще опять подумала, что, если не врут реклама и сериалы, есть же где-то люди, которые на свадьбу летают из Рима в Париж и из Парижа в Рим.

* * *

— Заходит мужик в трамвай, видит — куча народу. А на сиденье старуха сидит, ноги на соседнее место положила. Он ей говорит: «Бабушка, уберите ноги, я сяду». А она ему: «Мужчина, во-первых, это не ноги, а ножки. А во-вторых, их в семнадцатом году целовали». Ну, мужик ничего не сказал, остался стоять. Потом заходит другой, видит то же самое. И тоже говорит: «Бабушка, уберите ноги, я сяду». А она ему: «Во-первых, это

не ноги, а ножки, а во-вторых, их в семнадцатом году целовали». На следующей остановке заходит пьяный матрос. И тоже: «Бабка, — говорит, — двинься, я ясду!» А она ему опять: «Это не ноги, а ножки, и их в семнадцатом году целовали». «Ну и что, — отвечает матрос, — если мне только что хуй сосали, мне его на компостер положить?»

Лиза-трупик смеется, Оксана, которую Оля прозвала Снегурочкой, вспыхивает, опускает глаза и хлопает ресницами. Оля, довольная тем, как рассказала анекдот, хохочет. Я смотрю на нее, улыбаюсь, но юмора не понимаю.

— Вот такой анекдот мой парень рассказал. Причем при матери. Я ему: заткнись, дурак, а мать ничего — смеется, — продолжает копать в сумке Оля.

Нас, как мы и хотели, поселили в одну палату. Палат было не больше десяти, в деревянном коттедже, из окон которого видно ограду, а за ней — озеро. Как приехали, нас сразу собрали в рекреации, долго рассказывали о местных правилах и нашей программе. Получалось, что почти ничего нельзя, зато первую дискотеку назначили на тот же вечер — «чтобы всем познакомиться».

Потом был обед, потом мы с девчонками шлялись по лагерю, смотрели на другие отряды. Перед ужином к нам пришли парни, спросить, идем ли мы на дискотеку. Лиза-трупик, посмотрев на них, сказала: «С вами не пойдём», — но Оля повела себя более практично.

— Лиза, погоди, ты говорила, тут магазин есть? — спросила она быстро.

— Есть, из ворот прямо по тропинке. А что?

— Пацаны, купите нам вина какого-нибудь, а? — Оля посмотрела на одного, толстого и высокого, с курчавыми волосами, отчего-то похожего на петуха.

— И что мне за это будет? — спросил он.

— Ты принеси сначала! Давайте принесите, мы с вами тогда и пойдём.

Парни потоптались и ушли.

— Вотяки, колхозники! — сказала Оля, когда вся компания показала за окном: видимо, уже шли к воротам.

Я молчала. А что еще делать?

— Мартини с оливкой.

— Абсент.

— Виски — напиток настоящих мужчин.

И где-то есть места, где у женщин вместо подруг — компаньонки...

Оля надела джинсы со стразами и розовый топ, Лиза-трупик нарядилась во все черное, а Оксана вытащила из чемодана какое-то бежевое платье, видно, еще мамино — с длинной, торчащей во все стороны юбкой.

— Снегурочка на бал собралась! — заржала Оля, надевая босоножки. Ноги у Оли, в узких джинсах и на каблуках, казались очень длинными.

— «Копыта очень стройные и добрая душа», — так меня пацаны называли, ха-ха! Девчонки, не давайте мне много пить, а то тут тоже узнают про мою добрую душу...

Парни пришли, когда уже темнело, принесли дрянной портвейн в завернутой в газету бутылке. Газету бросили на мою кровать, но мне лень было ее убирать. Пили из пластиковых стаканов, парень, похожий на петуха, говорил: «За вас, девчонки!» — и демонстративно опрокидывал стакан в огромную пасть. Я пила и думала, что есть места, где женщины в коктейльных платьях стоят у бассейнов и напитки им приносят молодые люди в бабочках.

— Мохито.

— Кайпиринья.

— Куба Либре.

Видела бы меня моя мать! Второй стакан, в голове шумит, а парни все в ужасных тренировочных, и я ни одного из них не

подпущу к себе на выстрел, уж лучше тот, с которым целовалась у Лыж Кулаковой...

На воздух мы выбрались, когда все, кроме нас, ушли. Оля с Лизой шли впереди, мы с Оксаной — за ними, по дорожке, выложенной плиткой, к каменному корпусу столовой, откуда доносилась музыка...

— Eins, zwei — Polizei, drei, vier — Grenadier...

Хит того лета, непонятный язык, язык, на котором говорят в Европе.

Вспыхивали разноцветные фонарики, парни и девушки сбивались в темные кружки, неуклюже топтались, смущенно смотрели по сторонам. Другие просто сидели у стенок. Оля сразу бросилась к одному из кружков, Оксана встала у стенки. Я села и огляделась.

Вот тогда-то я и увидела его. Он был в голубых джинсиках и белой футболке без рукавов, в обтяжку. Он двигался, и мускулы перекачивались под этой футболкой неторопливо и мощно. Он весь был — спокойная сила. Невысокий и стройный, с тонкой талией и широкими плечами. С зелеными глазами, в которых играла легкая, веселая сумасшедшинка, неопасная, без демонизма. Волосы были почти длинными, волной разлетались на стороны, иногда закрывали лоб и глаза — быстрым, еле заметным движением он поправлял их. Он танцевал, изображая робота — пародировал брейк-данс 80-х, танцевал красиво и точно, но как бы в шутку, несерьезно. И по тому, как он двигался, было видно: с ним не может быть скучно. Не может быть неловко, и за него никогда не будет стыдно. А я теперь затаив дыхание все время буду смотреть, как он танцует — снизу вверх, снизу вверх. И в эту смену я непременно влюблюсь. Уже влюбилась.

* * *

Ты просыпаешься в палате от стука в дверь, крика «подъем!», от утреннего солнца... В голове немного туманно, и ты помнишь, что что-то такое случилось вчера, что-то измени-

лось. Что-то сделало твое пребывание здесь осмысленным, и ты знаешь уже, чем будешь заниматься здесь до конца смены... но только не помнишь, что это было.

Оксана уже встала, оделась и застилает кровать. Лиза спит и выглядит на белой подушке настоящим трупом. Оля зевает, тянется — так и ждешь, что с зевком, по-мужски, скажет «бля-а-а-а...», как делают все парни.

И думаешь о том, что в Европе есть места, где женщины спят в пеньюарах, на огромных кроватях с пологом, но теперь у тебя есть что-то, чего нет у них...

- Париж, город влюбленных.
- Рио-де-Жанейро, танцы всю ночь.
- Италия.

И только тогда вспоминаешь его.

С утра нас строили на линейку, поднимали флаг, потом поотрядно вели в столовую. Я увидела его там во второй раз — он был вожатым, вел свой отряд, по дороге разговаривая с нашей Анечкой — наверное, о своих вожатских делах. Потом они вместе ели, за одним столом, а мы с девчонками — за нашим, и я смотрела на него через всю столовую, с трудом поднося ложку ко рту.

— Стремный пацан, — услышала я вдруг низкий Олин голос.

Я вздрогнула и уставилась на нее. Кто-то из вчерашних парней шел через зал.

— Вчера вроде целовалась с ним на дискотеке. Не помню. Он мне еще водки налил на улице. Я после этого кого хочешь поцелую...

Парень подошел, о чем-то заговорил с Олей, а она демонстративно закатывала глаза. Кажется, обещал достать лодку, если мы пойдем купаться.

— А чо, девчонки, пойдем сразу, как поедим. На лодке загорать можно, — отвечала Лиза.

Я представила себе Лизу загорающей, и мне стало смешно.

Он, в другом конце столовой, встал, взял тарелки — свою и Анину, — отнес в мойку. Сильная рука, согнутая в локте, держала их так легко и изящно... Где-то есть места, где женщин приглашают кататься на яхтах — и они загорают там в шезлонгах, на белоснежной палубе. Он прошел вместе с Анечкой мимо, и я проводила его глазами — снизу вверх, снизу вверх...

В палате, пока девчонки собирались, я рассматривала себя в зеркало. Рыжие волосы, грубый крестьянский нос, куцые ресницы, водянистые глаза — непонятно, зеленые или голубые.

— Кирка, кончай в зеркало пялиться! Мы готовы...

Оля надела купальник, и я с удовольствием заметила, что у нее совсем нет груди.

— Я догоню, идите!

Они ушли, я осталась в палате одна. Не люблю переодеться при всех. Сумка забила под кровать, вместе с ней вылезли клочки газеты «Комсомольская правда», наверное той, в которую была завернута вчерашняя бутылка. Большая фотография профессора Лебединского, черно-белая, зернистая, ниже — про группу «Агата Кристи», которая мне вообще нравилась тогда, справа — заметка о том, что компания «Дойче Люфттранспорт» начинает регулярные рейсы в Москву, еще ниже — колонка происшествий.

«Трое девочек-подростков связали в школьной раздевалке одноклассника. По рассказам пострадавшего, они жестоко издевались над ним, били ногами и принуждали к извращенному сексу. Все трое исключены из школы, дело передано в районную прокуратуру. Подробности не разглашаются».

Я скомкала обрывок газеты и сунула в карман джинсов. Представила себе этих девчонок, должно быть таких же грубых, как Оля, и парня, скорее всего отличника и тихоню, — на заплеванном полу в вонючей спортивной раздевалке. Били ногами... в кроссовках или в туфлях на каблук? И зачем он, дурак, все это рассказал?

Есть места, где солнечные, смеющиеся люди на такое неспособны.

На озере я снова увидела его. Он с разбегу кидался в воду, встряхивал мокрыми волосами, звал Анечку купаться. Она сидела на берегу и читала газету. Кажется, тоже «Комсомолку».

* * *

Смена в лагере потекла своим чередом. Мы праздновали вотяцкие праздники, участвовали в соревнованиях, в которых надо было понимать удмуртский язык — спотыкающуюся скороговорку поднимающихся и падающих интонаций. Еще был конкурс красоты, в котором каждый отряд выставлял свою претендентку. Мы отправили Оксану, и она взяла приз «мисс Скромность».

— Снегурка молодец, — довольно ржала Оля. — А чо, могла бы и я участвовать! Почему я не мисс Скромность?

В волейбол наша команда выиграла у соседнего коттеджа — все парни играли неуклюже, но наши были brutальнее. Оля прыгала на своих длинных ногах выше всех и орала на наших противников так, что те пригибались.

Зато за игрой вожатых я следила безотрывно — как красиво он вставал к линии, подбрасывал мяч, легко и хлестко бил по нему ладонью... Ему, наверное, надо играть в теннис — ведь где-то в Европе есть места, где мужчины после работы играют в теннис на белоснежных кортах и произносят:

- Сет.
- Гейм.
- Матч.

Я пробовала курить, я пила с парнями и девчонками, играла в бутылочку, два раза мы сбегали из лагеря ночью к туристам, у которых были палатки «за территорией» и с которыми Оля где-то успела познакомиться. Один раз нас поймали и чуть не отправили домой.

Я ни разу не заговорила с ним за это время — если не считать той дискотеки, где мы потанцевали с ним один медляк и он что-то спросил меня, но я не расслышала — и только смотрела на него и чувствовала его руки на моей талии — и мне так хотелось, чтобы он сжал ее чуть крепче... Если бы после танца, так же молча, он взял меня за плечи, увел куда-нибудь, что-нибудь сделал — я бы пошла, и я бы разрешила, что бы он ни захотел...

Но он просто улыбнулся, показал белые зубы — и ушел танцевать к своим вожатым, извиваться в лучах фонарей, ухватив за плечи Анечку.

И все лица вокруг мелькали в разноцветных огнях так отчетливо и отвратительно — вотяки, в тренировочных штанах, старых белых кроссовках, с лицами, похожими на чернобыльские картофелины, — и они, наши вожатые, — как сверхлюди в этом паноптикуме.

Уже когда смена подходила к концу, я один раз увидела его после обеда на крыльце коттеджа. Он сидел, перелистывая газету. Я увидела его из окна и осторожно вышла. Он сидел так спокойно, так безразлично, только один раз остановившись глазами на каком-то месте газетной страницы. Я посмотрела через плечо: он читал «Комсомолку», и я увидела все ту же фотографию профессора Лебединского.

— Привет! — сказала я неуверенно.

Думаю, он меня не узнал, — лицо у него было типа «не помню, откуда помню», но не сказал об этом, а просто весело поздоровался.

— Скучаешь? — спросила я еще более неуверенно.

— Да нет. Аню жду. Вот газету читаю! — Он, заметив мой взгляд, быстро перелистнул страницу, немного помолчал. — Смена скоро кончится, да?

— Ага, — ответила я.

— В королевскую ночь, наверное, оторветесь. — Он имел в виду последнюю ночь в лагере, которую почему-то называли королевской.

— Да, наверное, — отвечала я — и, собравшись с силами: — Приходи к нам! Вам ведь тоже все можно в эту ночь, да?

— Нет, не все, — засмеялся он, — но я приду. Так и так приду.

В этот момент из-за коттеджа появилась Анечка, он свернул газету, быстро вскочил на ноги и пошел с ней — в зеленую теплую даль, вглубь лагеря. Я осталась сидеть, глядя, как он уходит: снизу вверх, снизу вверх.

* * *

Тебе шестнадцать, ты вотячка, рыжая, ты влюбилась в красивого парня и не знаешь, что делать. Не знаешь, что сказать. Что тебе остается — ты пишешь письмо. Ведь есть же места, где пишут письма и запечатывают именной печатью.

Конечно, это не письмо Татьяны Онегину, а просто: приходи ко мне в последнюю ночь, третий коттедж, четвертая палата, Кира. Но что еще пишут в таких случаях?

* * *

Королевская ночь в лагере — это что-то вроде ночи последних шансов. Все, кто не нашел здесь того, чего хотел, думают: теперь или никогда.

— Девчонки, я предлагаю на озеро, — говорила Оля за ужином, — там парни с лодкой. Говорят, дофига выпивки будет. И пацаны вроде нормальные... бухнем, покатаемся...

— Не, я в коттедже останусь, — сказала я.

— Кирка, ну ты что, дура, что ли? Последняя ночь, все тусуются, а ты сидеть в палате будешь?

— Я не буду как дура сидеть. Ко мне придут.

После отбоя почти сразу пришли соседские парни с водкой и колбасой. Бутылка у них была одна, я почти не пила, Оля с Лизой налегали, Оксана пила маленькими глоточками и хихикала.

— Сидит она, принца ждет! — ржала Оля, показывая на меня. — Он ей мартини принесет или амаретто, ха-ха!..

Я молчала. Есть места, где женщинам приносят мартини: в бокалах конусом, с оливкой внутри.

— Кампари.

— Амаретто.

Когда пьют амаретто... до еды, после, перед? Ты девочка, тебе шестнадцать, и ты этого не знаешь. А где-то далеко, в призрачной Вене, в светлом Милане, в темном Берлине, черно-белые официанты разносят бокалы.

Один парень положил мне руку на плечо, и я сбросила ее коротким движением.

— Ну ты чего, я ж просто... — обиделся он и подсел к Оксане.

Водка почти закончилась, когда наконец пришел он. Я не думала, что он придет так скоро, — а вот, появился в дверях, улыбнулся весело и нагло, стрельнул зелеными глазами.

— Ну чего, мальчики-девочки... Пьете?

Парни быстро убрали со стола бутылку, виновато заулыбались...

— Да не, я что ж... не против... королевская ночь — пейте, хрен с вами, только не упивайтесь... окей?

— Окей, — подтвердили парни смущенно.

Он вошел, сел напротив Оли. На меня он не смотрел. Оля уставилась на него с интересом, пару раз глянула в мою сторону, будто подбадривая. Я не знала, что делать. Я молчала. Есть места... Есть места...

— Налить тебе? — спросила Оля, посмотрев на него своими наглыми глазами.

Он быстро скользнул взглядом по ней, по ее ногам, и кивнул:

— Налей!

Она плеснула ему остатки водки.

— Ну и чего вы с вожатыми делаете в королевскую ночь, а? — спросила Оля.

— Да то же, что и вы, — ответил он, — только поскромнее... Нам еще за вами, алкашами, следить... Ну, давайте, — он поднял бокал, — чтобы сбылись все мечты. — Мы чокнулись, он сделал глоток. Скривился. — Колитесь, девчонки, какие у вас мечты?

— У меня... — Оля по-мужицки выпила залпом. — Ну, чтобы все было и ничего за это не было. А у тебя, Снегурка?

— Замуж хочу. За хорошего человека. — Оксана взмахнула длинными ресницами и покраснела.

Все в голос заржали.

— Чем я не хороший человек? — грохнул похожий на петуха пацан, и Оксана засмушалась окончательно.

— Я хочу, чтобы мне машину подарили. Ну, как Марии Лопес в сериале, на день рождения...

— Разбежалась, Лизка! Машину ей... Ну, Кирка, а ты?

— А я... — Я отпила, не почувствовала вкуса, сглотнула, ответила, глядя на него, снизу вверх, снизу вверх, — обращаясь только к нему: — Я хочу уехать отсюда. Навсегда. Хочу в Европу.

Он не ответил — наверное, просто не услышал.

Они с Олей разговаривали, а парни молчали и как будто все больше чувствовали неловкость. Тот, который пытался обнять меня, встал и ушел. Потом второй, повернувшись к нам, сказал:

— Ну, девчонки, все, типа, в силе... Знаете, где нас искать, если что...

Так ушли все.

Он все болтал с Олей, потом прервался, хлопнул рукой по колену и сказал:

— Ну ладно! Что-то вы тут разбрелись... давайте, идите к своим, а я к своим пойду...

Я смотрела на него, пытаюсь удержать взглядом. И потом, когда он встал уже, глянула, как обычно, снизу вверх, снизу вверх, и сказала:

— Остаься, а?

— А чего мне? Парни ваши ушли, выпить у вас нет, и вообще вы тут скучаете... — и он двинулся к выходу.

— Выпить? — Я что-то припоминала, соображая. — Выпить?
А если есть — ты останешься?

Он весело посмотрел на меня:

— А что есть?

Где-то есть места, где пьют... пьют...

— Мартини, — сказала я.

Девчонки все разом посмотрели на меня.

— Кирка, ты чего?! Не, правда! Мартини заначила? Нам не сказала... Ну дает! — выпучила глаза Оля. — Давай доставай...

Он посмотрел на меня в упор, и глаза его смеялись:

— Мартини?... Давай, посидим еще...

— Сейчас, — сказала я, вставая. — Я принесу... сейчас...

— Ты куда? Что, под камнем где-то заначила? — заржала Оля...

Я уже выбегала.

Дорожка проносилась под ногами, фонарики мелькали, кружились вокруг... Есть места, где женщины и мужчины пьют мартини... Есть места... есть... Но вокруг мелькало совсем другое.

— Памятник Ленину.

— Пионерлагерь «Дзержинец».

— Красные звезды.

Из железных ворот с узором в виде звезды, прямо по тропинке, и там бревенчатый домик... Лишь бы был в магазине, лишь бы...

— Девочка, зачем тебе? — удивленно выпятилась на меня толстая продавщица.

Понимаете, мне шестнадцать лет, я вотячка, рыжая, меня мама запихала в вотяцкую смену. Я влюбилась, я обещала мартини, он пришел, и иначе... иначе он уйдет!

— Надо, — ответила я. — Есть у вас?

Продавщица полезла куда-то под прилавок.

— Ты что? Такая молодая, и уже...

— Уже — что?

Я удивленно смотрела на нее.

— То самое... Ладно, чо ты мнешься, все в порядке... Тут из ваших, которые на трассе стоят, они за коньяком да марти-ни приходят. И из лагеря еще — но этим или водку, или портвейн... — Она протянула мне бутылку. — Триста тысяч!

Я выгрэбла из кошелька всю мелочь, все мятые бумажки... двести восемьдесят тысяч, двести девяносто...

— Небогато, девонька, небогато... Клиент не идет! — засмеялась она. — Хрен с тобой, бери! Потом десятку занесешь!

Я схватила бутылку и побежала. Не благодарила — какое там... Темный лес, какие-то крики и в лагере, и в поселке рядом, шум близкого шоссе, отсветы фар на деревьях... Ворота, фонарики, плитка на земле, и воздуха не хватает — бежала быстро...

Он все еще сидел в палате. Когда я вошла, глянул на меня — но теперь к этому взгляду что-то добавилось... какая-то насмешка или что-то такое, неуловимое. Похожее на то, как Анечка смотрела на нас, вотяков, у автобуса...

— Ну ты даешь! Вообще королева! Ну, давай попробуем, что у тебя там.

Мы разлили по стаканам. Я попробовала — сладкое и жгучее, невкусно. Может, все дело в стакане... в оливке... в ситуации... Есть места...

— Ну и чего, понравилось тебе тут, в лагере? — спросил он.

— Ага, — выдавила я.

— Приедешь еще?

— Ага...

Что-то такое мы выдавливали друг из друга, допивая стакан, другой. В бутылке было еще больше половины.

— Ну ладно, — он встал, снова посмотрел на меня, а я — на него, — спасибо большое, меня ждут... Правда ждут. Побегу... Я приду еще... Обязательно. — Он прошел мимо меня, подошел к Оле и чмокнул ее в щеку. Потом, уже в дверях, повернулся

ко мне: — Бутылку, — показал на мартини, — слушай, бутылку можно мне с собой взять? А?

Я кивнула, и он ушел.

Оля задумчиво посмотрела ему вслед.

— Дура, — сказала она, как будто очнулась, — вот дура! Ты зачем ему бутылку отдала?

— Пусть, — сказала я. Мне хотелось плакать.

— Молодец! — Оля уже кричала. — Он теперь пойдет к Анечке с твоим мартини...

— Какой Анечке? — спросила я машинально.

— Ты что, не знаешь?! Он Анечку трахает, нашу вожающую... Думаешь, почему он заходил? Вот увидишь, ее сейчас тоже нет...

Головокружение. Мутное, сладкое — как мартини... Что-то надувается в горле, что-то душит, в глазах как будто сверкает множество драгоценных камней. Моргаешь — и комната, Оля, Оксана — все плывет, а на щеках — холодно и мокро... Есть места... Есть люди... Есть что-то еще... У меня — нету.

— Девчонки, — я сглотнула, собралась с силами, а они сделали вид, что не видят, как я плачу. — Что там парни говорили? С этой... лодкой?

* * *

Все качалось. Лодка качала меня, водка качалась во мне, иногда опасно поднимаясь к горлу. Какой-то парень, кажется тот, что клал руку мне на плечо, тормозил меня — и я устало соглашалась. Все продолжало качаться на берегу — ночь кончалась, надо было расходиться по палатам, и деревья и кусты так рябили в глазах, трудно было идти по дорожке прямо, и Олю, и Лизу поддерживали парни, и даже Оксана нашла себе кого-то, кто держал ее под ручку, а я шла одна, и мир качался вокруг. Я еще никогда не была такой пьяной, и на все обрывки мыслей, которые возникали в голове, какой-то лихой, пьяный голос внутри отвечал мне в ритм шагов — все равно!

- Мне шестнадцать лет, я вотячка...
- Все равно!
- Я влюбилась, а он трахается с другой...
- Все равно!
- Где-то есть места...
- Все равно!

Сзади раздался пьяный крик, переходящий в хрюкающий смех, — Оля завалилась в кусты. Оксана потерялась где-то сзади. «Подруги!» — подумала я с отвращением, подходя к коттеджу. Ступенька, вторая — в третью я ударилась коленом, упала... В коттедже было тихо — как будто никого там не было. Пустота в рекреации, остатки черной ночи в окнах, поблескивающее ограждение — смена кончилась, и ничего не случилось.

— Все равно! — уже не так уверенно ответил голос.

Я шагнула в палату и увидела его. Он сидел на полу у кровати, весь растрепанный, с головой, упавшей на руки. Даже на расстоянии чувствовалось, что он какой-то горячий, потный и что спиртом несет даже от его волос. Он поднял голову — зеленые глаза были мутны и как будто съезжались к переносице. Он был ужасно пьян — а я, глядя на него, вдруг начала трезветь... Мир перестал шататься. Я смотрела на него, но не как всегда. Что-то не получалось. Снизу вверх, снизу вверх...

— А-а-а-а... — произнес он, взглядываясь в меня и как будто припоминая. — Это ты... это... влюбленная...

— Да, это я, — ответила я спокойно, — что же ты здесь? Почему не у Анечки?

Он махнул рукой, как будто мазнул себя по носу:

— А-а-а-а... Анечка... спит Анечка... ужралась... А я вот тут это...

— Чего — это? — спросила я. — Что, Анечке понравился мартины?

— Мартины... — Он мутно посмотрел на меня. — Мартины... Ты, это, скажи, твоя подружка... Она где?

— Какая? Оля? — спросила я еще спокойнее.

Я вдруг поняла, что ничего еще не кончилось. Под ногами лежала бумажка. В полутьме было не разобрать, но я была уверена, что это он — обрывок «Комсомольской правды». Избили, издевались... Принуждали к извращенному сексу...

— Оля, — ответил он, тоже увидел листок. Внимательно, качая головой, посмотрел на него, попытался взять, несколько раз промахнулся, наконец схватил в горсть и скомкал. — Да, эта... длинноногая... Она ничего, твоя подруга...

— Значит, Оля. — Я обошла вокруг него. Он ухватился рукой за кровать, попробовал встать — но не получилось. — Она скоро придет... А я? Скажи, чем я тебе плоха?

— Да ты, это... не плоха... Оля... Прид-дет Оля... А если не придет, то ладно, иди сюда! — Он протянул ко мне руку, хотел схватить за запястье.

Я совсем протрезвела. В голове что-то звенело, какой-то холодный, ясный лед, как льдинки в бокале. Европа... Есть места... есть мужчины... Они могли бы играть на теннисных кортах, водить яхты, разливать мартини... Он мог быть одним из них, а стал вот этим — пьяным идиотом на полу, в лагере, в палате...

Я присела рядом и положила руку на пряжку его ремня.

— Ну ты, это... быстрая, — замычал он, протягивая ко мне руку. Я резко ударила, его кисть тупо стукнулась о стену и упала на колени. Я вернулась к ремню, медленно расстегивая его. Он замычал, словно не понимая, что происходит. Ремень расстегнулся, и я потянула за пряжку, вытаскивая его из джинсов. Он смотрел на меня. Хотел, кажется, что-то сказать или потрогать меня — но боялся еще одного удара и как будто просто покорился тому, что я делала... Ремень был у меня в руке. Увесистая пряжка, грубая кожа... Как он, наверное, свистит при ударе... Я взяла его чуть выше локтя, за крепкий бицепс, весь мокрый от пота, и изо всех сил рванула вверх. Он крутанулся, ударился головой о кровать, перевернулся на живот. Я схватила обе его

руки и затянула ремнем-петлей, как делала два года назад, когда думала о суициде. Он задвигался, замычал — вяло, все еще не понимая. Его руки уже были связаны. А я вытащила из его кармана пачку сигарет и встала.

Моя любовь, вожатый пятого отряда, красавчик, зеленоглазый танцор, лежал на полу в палате, пытаясь перевернуться с живота на спину. Я помогла ему — ткнула каблуком в плечо и снова встретилась с ним глазами — глаза его по-прежнему были мутными, и веселая наглость из них напрочь исчезла. Страх еще не было, была какая-то смутная тревога. Но я понимала, что смогу теперь вытащить из них любые эмоции — и страх тоже... Вот сигарета — я зажгу ее, сделаю пару затяжек, стряхну пепел на его лицо, на его пухлые губы. А потом смогу всадить горящий окурочек ему в шею, в плечо — и он зашипит, и съежится, пойдет по шву кожа...

— Это... девчонки, я говорила, как меня называли у нас в поселке? — донеслось из коридора. — «Копыта очень стройные, — приближалось к нашей двери, — и добрая...»

Дверь открылась, на пороге стояла Оля в сопровождении Лизы и Оксаны.

— Кирка! — прошептала она быстро, увидев его на полу и меня с сигаретой. — Кирка! Вы тут что?..

— А ничего! — Я стряхнула пепел ему на голову. Было замечательно видеть, как наглая, грубая Оля съежилась, отступая, и только шептала: «Ты что, ты что...» — Я ничего! Эй! — Я ткнула носком в его щеку. — Оля твоя пришла! Ты ведь ждал ее! Девчонки! У меня тут парень на полу лежит, весь наш... Кто хочет?

Оля отступала куда-то в дверь, поравнялась с Оксаной и спряталась за ее спину...

— Кирка, ты с ума сошла! Ты что?!

А Оксана, Оксана-тихоня, недотрога, мисс Скромность в мамином платье, задумчиво ступила вперед, глядя на него так застенчиво, так робко... Потом вдруг подняла ногу, и ее каблук, каблук старомодной туфельки, оказался у него на груди.

— Девочки... Это интересно, — прошептала она, — я такое в кино видела... Давайте!

Где-то есть места...

Где-то в Берлине и Париже, в далеких переулках, есть маленькие кинотеатры, где...

Оксана резко ткнула каблуком в его грудь. Страх. Вот он — первый страх в его глазах.

Оля смотрела на нас круглыми глазами, потом тихо вошла и прикрыла дверь.

— Девчонки... Он же орать будет... Что тогда?..

— Будет орать — сунем что-нибудь в рот, — ответила я, глянув в сторону Оксаны. Тихие, глубокие глаза Снегурочки блеснули в ответ колючим огоньком. К нам подошла Лиза.

— У меня есть идея получше, если будет орать, — сказала она и медленно расстегнула молнию джинсов...

Я остановилась и затанулась. Стало непривычно легко — как бывает всякий раз, когда жизнь неожиданно открывает один из своих простых механизмов. Я поняла, что на том пьедестале, куда мне так хочется поднимать глаза, пусто. Было пусто, пока я не забралась на него сама. И еще многое поняла я тогда о мужчинах, о людях — именно в эту ночь я узнала то, благодаря чему мне легко было уехать. Из Ижевска. Из страны.

Увидеть почти все европейские столицы. Покупать украшения и картины, шубы и туфли. Сделать несколько пластических операций. Научиться разбираться в винах. Вспоминать Лыжи Кулаковой и ижевский пруд как милую сказку, а не как каждодневную, ненавистную реальность. И смотреть на самых молодых и красивых без страха, уверенно, оценивающе, пока они, связанные, смотрят на твою занесенную для удара руку, смотрят, как та девочка на танцующего парня: снизу вверх, снизу вверх...

Однажды в отпуске, кажется за завтраком в гостинице, я познакомился с забавным типом из Кёльна — содержателем гей-клубов в разных городах Германии. Тип выглядел как форменный шут, но при этом, надо отдать ему должное, увлекательно рассказывал об особенностях своего бизнеса. Настолько увлекательно, что несколько месяцев спустя, оказавшись проездом в Кёльне, я позвонил ему, мы вместе пообедали, и он показал мне одно из своих заведений. Конечно, при свете дня и до открытия — наверное, я бы не решился заглянуть туда в вечернее время. Сверху, впрочем, это выглядело как обычный бар, просто чуть более китчево, с блестками, дурацкими зеркальными шарами и креслами, обитыми розовым плюшем. Но был еще один этаж, подземный — так называемая «темная комната», которая, как сказал хозяин, есть в каждом таком клубе. Здесь была не комната, а целый лабиринт с обитыми черным кожаным материалом стенами, множество тупиков и поворотов, за которыми открывались иногда небольшие комнатки. Там были железные кровати или просто матрацы на полу, в некоторых на стенах висели черные инструменты, в стенах были кольца и цепи, а в одной комнатке стояла железная ванна на ножках. Кое-где было совсем темно, кое-где висела тусклая лампочка, еще где-то из-под потолка шел приглушенный красный или зеленый свет. Больше всего меня поразили дырки в стенах между комнатками, почти везде, одни на уровне глаз, другие — чуть ниже живота.

— Тут как в швейцарском сыре, правда? — смеялся хозяин. — Каждый найдет свое. Хочешь — участвуй, хочешь — смотри и оставайся неузнанным. А можно, — он усмехнулся, показывая на дырку пониже, — участвовать, но так, что никогда не узнаешь с кем...

Я кивнул — в свете бирюзово-зеленого фонаря с лица моего собеседника пропало все шутовское, проявилось демоническое.

— Этот клуб, — продолжал он, усмехаясь, — очень похож на нас, европейцев. Красивый фасад и сырое нутро. Снаружи — креслица-столики, вежливость и политкорректность, здравствуйте и до свидания, а внутри — подвал, полный самых темных фантазий. И это буквально в каждом. Не так ли?

Я кивнул и больше ему не звонил. Но воспоминание осталось надолго.

Людвиг Вебер, предприниматель

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	7
День рождения	12
Летняя смена	30
Эсэмэс	57
Танец	74
Исчезновение	98
Грот Людвига Баварского	124
В подвале	153
Перезагрузка	164
Вэйцы	183
Рождество	204
Касабланка	222
Турбина	238
Комитет добрых дел	258
Московский дневник	278
1000	310
Цитадель	327
Черный бархат	343
Белый лебедь	361

Литературно-художественное издание

Дмитрий Петровский

Дорогая, я дома

18+

Художественный редактор *Павел Лосев*
Редактор *Аглая Топорова*
Корректор *Антонина Семенова*
Компьютерная верстка *Наталии Ремизовой*

Подписано в печать 22.02.2018. Формат 60 × 90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 24. Тираж 1000 экз. Заказ ???

ООО «ИД „Флюид ФриФлай“»
109382, Москва, ул. Краснодонская, д. 20, корп. 2
тел.: (985) 8000 366
www.fluidfreefly.ru
e-mail: fluid@gorodets.ru,
levental.bookshelf@gmail.com
интернет-магазин gorodets.ru



© Bernardo Andrade de Sena

Дмитрий Петровский родился в Ленинграде в 1983 году, живет в Берлине. Окончил институт звукоинженеров, работал звукорежиссером на телевидении, программным директором радиостанции, журналистом. В 2009 году вышла первая книга Петровского – «Роман с автоматом»; после этого автор сосредоточился на литературной работе. Новый роман «Дорогая, я дома» написан в путешествии по Азии, Северной Африке и Европе.



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

ISBN 978-5-906827-54-8



9 785906 827548